



В Бирюкове сочетались ум и горячая безрассудность, мужской характер и детская увлеченность фантастикой, и, наверно, за это я полюбил его сразу.

Был я в то время заочником пединститута, директором школы, диктором местного радио и руководителем лекторской группы. Жил в школе. Квартиру мне обещали, но дом, в котором будет квартира, еще не строился, надо было подождать — год, два... В школе я занимал угловую комнату. И ухитрился сделать из нее две, поставив посередине перегородку. Удобства получились сомнительные, — но ведь это временно, утешал я себя и свою семью... Большое окно выходило на школьный двор, где волейбольная площадка гудела с восьми утра до восьми вечера: сначала кожаный мяч били ученики, затем — с меньшим азартом — взрослые. Все — кроме меня. Я сидел за столом против окна и корпел над учебниками. Ученики и взрослые жалели меня. Во всяком случае, ни разу не всадили мяч мне в окно, чтобы не нарушить моей работы.

Друзей у меня не было. Чтобы иметь друзей, надо отдавать им время: ходить на охоту и на рыбалку, отмечать дни аванса и дни получки, забивать — хотя бы пять дней в неделю — «козла» от захода солнца и до полуночи. Всего этого я делать не мог. Правда, я мог делать много другого, но горы книг и конспекты на моем столе отпугивали тех, кто, может

быть, хотел со мной подружиться.

Только один человек не испугался моей занятости и книг — Бирюков Николай Степанович. Он пришел ко мне вечером с волейбольной площадки — высокий, в добротном отглаженном сером костюме.

— Здравствуйте, — сказал он.

— Здравствуйте, — ответил я и пожал его протянутую руку.

— Я вам не помешал? — спросил он.

— Садитесь, — ответил я.

Он спросил:

— Трудно? — и показал глазами на книги и на тетради.

— Нелегко, — сознался я и добавил: — четвертый год...

— А всего? — спросил он.

— На следующее лето — государственные экзамены.

Отсвет заката падал на его худое, коричневое от загара лицо. Карие глаза, темные брови, темные негустые волосы подчеркивали бронзовый цвет загара. Впалые щеки, крутой и, как мне показалось, немного хрупкий подбородок, высокий лоб с залысинами придавали его лицу что-то тонкое, аскетическое. Что-то было интеллигентное в его облике и манере, в тонких руках с нервными пальцами. «Инженер Мэнни...» — вспомнилось мне название старого фантастического романа.

— Кем вы работаете? — спросил я.

— Токарем, — ответил он.

Мы проговорили весь вечер. О книгах, о технике, о «Северной повести» Паустовского. Наши вкусы и интересы почти совпали.

— Разрешите мне зайти к вам еще раз, — попросил он, расставаясь.

— Заходите, — ответил к.

Так у меня в поселке появился друг.

Пришел он в следующее воскресенье. Принес с собой чертежи.

— Мучает меня одна мысль, — признался он. — А может быть, это фантазия!..

Положил передо мною листки.

—Видите ли,— сказал он.— Все беды двигателя внутреннего сгорания — в шатуне,— показал он разрез двигательной системы дизеля.— Шатун дергает коленчатый вал, раскачивает двигатель, притискивает поршень к стенкам цилиндра, создает силы инерции...

Николай Степанович продолжал перечислять беды, которые приносит шатун инженерам и человечеству, так что я сразу возненавидел этот зловерный стержень, который бездарно мотается в двигателе. Но я не понимал, к чему клонит Бирюков, и соглашался с ним, скорее в силу его горячности, с которой он объяснял бедствия, происходящие от шатуна,— и еще я соглашался из симпатии к Николаю Степановичу.

— Это не все,— продолжал он.— Шатун утяжеляет конструкцию, отнимает тысячи тонн металла,— словом, создает одни неприятности. Мне бы хотелось... Это не только моя забота,— оговорился он, словно извиняясь за свое беспокойство,— это мечта всех машиностроителей — сделать бесшатунный двигатель, упростить и перестроить его. На больших кораблях двигатель сейчас высотой с четырехэтажный дом...— закончил Бирюков с извиняющейся улыбкой, словно ожидая от меня сочувствия или осуждения явной нелепости: двигатель величиной с четырехэтажный дом!..

Я согласно кивал, выражая сочувствие. Кое-что доходило до меня, но я не мог взять в толк, чего хочет этот странный человек. Шатун — все-таки основная деталь, передатчик движения от поршня на коленчатый вал, — об этом учат в седьмом классе школы. Как можно убрать из двигателя шатун?..

— Если же сделать так...— показывал Бирюков на другой чертеж — на звездообразный мотор, где было четыре поршня и не было никаких шатунов.— Если связать две пары поршней жестким креплением...

Тут я терял нить объяснения, переставал понимать Николая Степановича.

Больше — отказывался принимать идею бесшатунного двигателя.

— Коэффициент полезного действия,— уверял Бирюков, — можно довести до девяноста процентов. Размеры уменьшатся, конструкция потеряет вес. И это при одинаковой мощности двигателя!

Я не был ни техником, ни математиком. Я литератор. Я не мог помочь Бирюкову. Хуже того,— я воспринимал идею бесшатунного двигателя как утопию или заблуждение. Конечно, вслух я об этом не говорил. Но я не мог поддерживать разговор о двигателе, не мог разделить горячность Николая Степановича, тем более воспламениться его идеями,— ведь он разрабатывал новый двигатель! Откровенно говоря, Бирюков быстро понял, что я не пловец и могу не только пойти ко дну, но и утащить с собой его двигатель. Разговор у нас прекратился, чертежи со стола исчезли. И больше мы вообще не говорили о двигателе без шатунов. Только двенадцать лет спустя в научном журнале я прочитал о воплощении этой идеи инженером Баландиным. Бесшатунный двигатель был создан!

Бирюкову не хватало образования, хотя мысль его была на верном пути. Николай рос сиротой, окончил в Майкопе ремесленное училище, прошел войну и после войны работает токарем.

Я видел, как он работает, ходил в мастерскую смотреть — не только потому, что Николай был моим другом,— я любовался его работой.

Мастерская барачной конструкции была грязна и мрачна. Ходить по ней можно было только зигзагами, обходя тракторные гусеницы, радиаторы, покрышки автомашин, сваленные на пол, как попало. Паровозом посередине стояла печь — бочка, с огромной трубой, красная от жара, мазут в нее подавался трубкой из бака, замысловато пристроенного на железном треножнике. Вырываясь из трещин вокруг трубы, пламя коптило и делало мастерскую похожей на кузню чумацких времен. Тем красивее,— как остров, залитый светом,— блестел среди дыма станок

Николая Степановича. Это был стан-полуавтомат — чудо, неведомо как попавшее в приземистый закопченный барак. Ни пятнышка, ни пылинки не было на теле стана-аристократа,— станок пользовался уважением и любовью хозяина. И хозяин был подстать своему подопечному. Как он стоял, как он менял резец, ставил деталь — это была музыка, воплощенная в движении человеческих рук.

Когда Николай наклонялся к станку, регулировал ход резца или просто смотрел на работу, он становился частью станка. Не просто частью — душой. Большая блестящая машина отзывалась на каждый взгляд человека.

Мне это нравилось. Я спрашивал Николая:

— Как ты рассчитываешь режим работы?— Ему приходилось точить медь, чугун, сталь.

— Это происходит само собой.

— Интуитивно?— спрашивал я.

— Практика,— отвечал он.— Все дело в навыке.

— В мастерстве? — пытался я подсказать.

— Наверное,— отвечал он.— Тут надо не только видеть — чувствовать.

Кроме леспромхоза в поселке и вокруг поселка работало с полдюжины разных организаций: колхозы, артели, дорожники. У всех своя техника — машины, бульдозеры. Техника, как известно, имеет привычку ломаться: летят коленчатые валы, подшипники. Все это надо вытачивать заново, ставить на место, и так, чтобы оно работало. Со всякой поломкой шли к Бирюкову.

— Коля, выточил...

Коля точил, строгал.

— И каждый тащит,— рассказывал мне,— пузырек. В знак благодарности. Откажись — обижаются: гордишься, брезгуешь выпить с рабочими. Вот и выпьешь — один раз и другой...

Это было бедствием. Как вечер — зовут в столовую:

— Николай Степанович! Николай опрокидывал стопку. Может быть, у

человека не было характера? Был. И еще какой!

В семье у Бирюковых было двое детей. Ждали третьего. И когда приблизилась пора отвозить супругу в роддом, Николай забеспокоился с вечера. Пошел к начальнику, к механику, к инженеру, опять к механику. Машину должен был дать из гаража механик Баров. В полночь, прибежал к нему Николай опять:

— Дайте распоряжение, Иван Михайлович!

Иван Михайлович после именин-свояченицы был пьян до невменяемости.

— Иван Михайлович! — просил, Бирюков.

— Чего тебе?— спрашивал механик, не в силах поднять голову от подушки.

— Машину, — жену надо отвезти..

— Тебе надо везти, вчера Полозову возили. Что у меня — скорая помощь?

— Иван Михайлович...— пробовал доказать ему Бирюков.

— Утром! — ответил механик.— Придешь к наряду.

Бирюков к наряду пришел, но не застал ни механика, ни машины. Иван Михайлович уехал в соседний поселок за подсолнечным маслом.

Бирюков молча вернулся домой, взял двустволку, зарядил медвежьей картечью и пошел на шоссе.

Утро было мартовское, туманное. Рассветало нехотя; солнце брело за горой. Поселок лежал в тени. Бирюков знал, откуда должен был прийти «МАЗ»,— механик сам поехал за подсолнечным маслом. Не спеша Николай пошел навстречу машине. Послышался шум мотора, потом из-за поворота блеснули фары. Так же не спеша Николай снял двустволку и, подождав, пока машина подошла вплотную,— шархнул поверх кабины сразу из двух стволов. Машина стала как вкопанная. Иван Михайлович перепелом вылетел из кабины, кинулся наутек.

— Не беги, гад,— сказал Бирюков,

перезаряжая ружье.— Догоню!

Иван Михайлович все равно убежать бы не смог: завяз в снегу — по сторонам от дороги сугробы были по плечи.

— Давай назад! — командовал Бирюков.

Бледный как смерть Иван Михайлович полез из сугроба.

Бирюков заставил его сесть за баранку, вести машину в поселок. Завернули к шоферу, и Иван Михайлович с глазу на глаз велел шоферу везти жену Бирюкова в роддом.

Механик не жаловался, не подавал на местком. Дотянул до лета, продал дом и выехал из поселка,— только его и видели.

Когда я удивился по поводу этого случая, Бирюков спокойно ответил:

— Бюрократов только так и надо учить...

Семьянином Николай был хорошим. И другом — тоже хорошим.

Больше всего мне запомнился год, когда в журналах печаталась «Туманность Андромеды» Ефремова. Мы читали роман из номера в номер, по месяцу ожидая очередного журнала. Николай приходил ко мне по вечерам, и мы разговаривали. Славные это были вечера! Стены комнаты раздвигались, горы подходили к нам на расстояние вытянутой руки, потом уменьшались, тонули где-то внизу,— у нас в руках была уже вся планета. Мы рассматривали ее, удивлялись ее красоте и богатству и поднимались еще выше — к другим мирам. Это были беседы-мечтания, беседы-фантазии. Мы общались с жителями других планет, дарили им красоту Земли, а они возвращали нам наши мечты овеществленными в виде машин, сказочных городов, звездолетов. Мечтать помогал нам Ефремов,— мы одну за другой читали главы его романа и ждали следующих. Помню, с какой обидой мы получили номер журнала, в котором почему-то не оказалась последней главы «Туманности Андромеды». Кто-то обманул нас, вырвал из рук мечту, и мы листали пустой журнал,

обескураженные. Надо было ожидать еще месяц... Потом мы набросились на фантастику Журавлевой, Стругацких. А потом... Потом я начал писать. Теперь, когда я вспоминаю свой первый шаг по этой новой дороге, он связывается у меня с нашими — моими и Бирюкова — мечтаниями, с Ефремовым и с окончанием института.

Институт я окончил поздно — в сорок два года. Причем, полный курс, от вступительных до государственных экзаменов: довоенная учеба в университете не была зачтена ни на грош... Но это имело важные для меня последствия: за пять лет учебы я привык к каждодневной работе. И когда получил диплом,— растерялся. Нечего было делать! Я оказался словно в безвоздушном пространстве, без точки опоры. Я не знал, куда девать время, которого оказалось пропасть. Для волейбола я вышел из возраста, в «козле», увы, преуспеть не мог, выпивка меня не интересовала... Накинулся на книги: прочитал Бунина, Вересаева, Куприна. Удовлетворение получилось неполным — требовалась работа. И вот однажды, слушая по радио тургеневские «Три встречи», я подумал: ведь и у меня в жизни были встречи, было немало интересного. И начал писать.

Никто не принял всерьез новой моей увлеченности: ни семья, ни товарищи по работе. Если и не говорили вслух, то наверняка думали: занимается человек пустяками. И лишь Николай увидел в моей работе не одну увлеченность.

— Пиши,— советовал он.

И вот — первая моя книга. С каким восторгом Бирюков взял ее в руки. Не в руку — именно в руки!— когда я положил книгу ему на стол. Как горели его глаза! Какая хорошая была у него улыбка! Сначала он нежно прикоснулся к книге,— точно к клавишам инструмента. Потом поднял ее обеими руками, как драгоценность.

— Поздравляю! — сказал он. — От всей души поздравляю!

Как ни странно, это была фанта-

стическая повесть,— одна из тех фантазий, которые мы переживали вместе.

Через год мы расстались. Николай с семьей уехал в Новороссийск. На отъезде настояла его жена.

— Сопьется он здесь,— жаловалась она.— Событыльников я готова кипятком шпарить.

В Новороссийске у нее жил брат, он помог Николаю устроиться в механические мастерские.

Изредка мы переписывались. Перемена обстановки хорошо повлияла на Николая. Из мастерских он перешел на судно каботажного плавания, а затем — токарем на рефрижератор «Ала-Тау». Моя четвертая книга догнала его в Атлантическом океане.

Долго мы не могли свидеться. Я по-прежнему работал директором школы, а летом, во время моих каникул, Николай находился в плавании. Но в этом году наши отпуска совпали, и мы несколько дней провели вместе.

— Как летит время!— удивлялись мы.

— И как растут люди!

— У меня уже сынишка четырех лет — Димка. Прирожденный моряк: первый раз он увидел море и с ходу забрался в него по пояс...

— Да,— повторил Николай, показывая на Димку,— как растут люди. А помнишь?..

Я помнил все: и наше знакомство, и проект бесшатунного двигателя, и фантастические мечтания.

— А ведь его не было!— кивнул Николай на Димку.

— Не было,— согласился я.— Но ведь жизнь, сам знаешь,— вещь удивительная.

Море шумело. Димка смеялся. И мы с Бирюковым были старше на десять лет.

Несколько дней мы провели вместе. Это были хорошие дни, опять наполненные мечтаниями и добрыми наметками на будущее. Потом Николай ушел в море — старшим механиком на сейнере С-1872.

Друг мой, хороший друг, счастливого тебе плавания!

